



Л. Л. ИВЧЕНКО

Государь и армия

<Фрагменты>

<...> Внимание к так называемым «частным проблемам», конкретизация аспектов исследования — закономерное явление в отечественной историографии. Масштабное историческое полотно, где основные контуры расплывчаты, а второй план и вовсе отсутствует, смотрится явно незавершенным; в этом случае его создателя вряд ли оправдает монументальность замысла. Специалисты столкнулись с тем, что создание обобщающих работ по истории Отечественной войны 1812 года не только невозможно, но и бессмысленно без углубленного изучения важных деталей, «освещенных светом больших исторических событий». Научные труды, посвященные «частным проблемам», могут оказаться довольно значительными как по глубине содержания, так и по количеству страниц, что лишний раз доказывает их актуальность. <...>

Принцип организации власти в России был четко сформулирован еще в Воинском артикуле Петра I: «Его величество есть Самодержавный монарх, который никому на свете о своих делах не должен дать ответа, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Современному человеку с «секуляризированным сознанием», вероятно, не просто представить отношения между Царем и подданными, коль скоро эти отношения осмысливались не столько в сфере политической, сколько в сфере духовной. Один из исследователей «военной оппозиции» в эпоху Александра I так определяет связь между Царем и подданными: «Для наших героев в понятии “Государь” сливалось то, что можно назвать тайной престола, тайной самодержавной власти, и тот, кто в данный момент являлся носителем, воплощением этой тайны. Царь — живое олицетворение России. В известном смысле она персонифицирована в нем». Необходимо добавить, что «тайна

престола» находилась именно в сфере духа, поэтому «защитник Отечества и трона» в ту эпоху одновременно ощущал себя и «защитником Веры».

В письмах, дневниках, воспоминаниях того времени словосочетание «военная служба» часто заменяется «царской службой», «государевой службой». Достаточно вспомнить знаменитые строки из знаменитого стихотворения Д. В. Давыдова:

Я люблю кровавый бой;
Я рожден для службы царской!

Соответственно определение «слуга Царю» не заключало в себе, по понятиям того времени, ничего оскорбительного, несовместимого с честью и благородством, коль скоро служить Богу и Государю было равнозначным. Характерный пример запечатлен в воспоминаниях Ф. В. Булгарина: «Однажды, на дневке, в какой-то деревне уже за Нарвой, Ш. [подполковник. — Л. И.] осматривал трубачей, в новых мундирах, присланных из Петербурга. Он махнул рукой — и шинель упала с плеч его, в грязь. Я подозвал улана, стоявшего в шагах двадцати, и велел поднять шинель. Ш. окинул меня взором с головы до ног и сказал с иронической улыбкою: “Не велика была бы услуга!” Ему, видно, хотелось, чтоб я подал ему шинель. — “Я слуга Божий и Государев!” — отвечал я хладнокровно, а пришед домой, оседлал лошадь и уехал в эскадрон, объявив через писаря, что не возвращусь в штаб».

Немец Э. М. Арндт, служивший в 1812 г. в русской армии, видел причину победы над Наполеоном в национальном характере, обусловленном способом правления: «Страх и удивление внушает эта самоуверенная сила — не назову ее величием, выражение это слишком высоко, но эта решительность и непоколебимость, даже независимость. <...> Именно независимость. Отчасти это обусловливается именно народным характером, но еще более способом правления. <...> Какая разница там, где действуют более свободные силы! Как в Англии, во Франции, в Германии, даже самый энергический характер, самая могучая воля должны дробиться и размениваться в своей деятельности! <...> В странах, где поклоняются лишь одному Богу и одному самодержавному Государю, где до Бога высоко, до Царя далеко, всегда можно идти прямо напролом. Ибо там, где господствует рабство, отдельные лица всегда более независимы».

Царствование Александра I пришлось на переломную эпоху, когда христианское отношение к идее легитимности (законности) монархической власти в Европе переживало серьезную проверку

на прочность. В России опыт дворцовых переворотов XVIII в., казалось бы, также позволял усомниться в нерасторжимости таких понятий, как «служить Государю» и «служить Отечеству», все еще составлявших в сознании русских офицеров в начале XIX в. единое целое. Следует признать, что Александр Павлович неоднократно возбуждал смятение в душах подданных пристрастием к либеральным идеям века: ученик республиканца Ф. С. Лагарпа неоднократно пытался реформировать «внутреннее устройство» России. Ропот соотечественников сопутствовал ему и во внешнеполитических начинаниях: по мнению многих, Государь не всегда твердо отстаивал собственные интересы России, увлекаясь, по выражению В. Ключевского, «голодной идеей всечеловечества». Военные неодобрительно отзывались и об известной, даже мучительной для них страсти Императора к «парадной» стороне ратного ремесла: погоня за «внешней красотостью» нередко вредила боевым качествам войск. Офицер лейб-гвардии Семеновского полка А. В. Чичерин доверил «Дневнику...» крик души: «Ради себя я хочу войны и всегда хотел, потому что, становясь воином, я рассчитывал поседеть в боях, а не одряхлеть от непрерывных досад на учениях и парадах». Само за себя говорит высказывание графа М. С. Воронцова, относящееся к 1812 г.: «Приятно жертвовать жизнью, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и не что иное, как одно и то же». Подобное расчленение понятий монархист Ж. де Местр назвал «смертельной вивисекцией», грозящей всей Европе.

Александр I, в лице которого Россия «впервые узрела человека на троне», в силу этого, действительно, был «нетипичным» монархом. Как строилась при нем линия отношений «Государь — армия»? Мы должны будем признать, что в душе Императора оставался потаенный угол, куда воспитатель Лагарп с «общечеловеческими ценностями» так и не добрался, или же «державный воспитанник» сам не допустил туда своего наставника: речь идет об армии. В вопросах «внутреннего обустройства Империи» Александр Павлович мог сколько угодно предаваться либеральным мечтаниям, которые В. Ключевский едко называл «конституционными похотями»; Царь мог строго выговаривать своим сенаторам, что «Сенат — не «Наш», а «Правительствующий». Но армия была «его», что показывает случай, рассказанный М. М. Петровым¹: «Однажды в Петербурге государь Александр Павлович, увидев нечаянно, что камер-лакей, зазевавшись, не успел отворить двери шедшему из Гербовой к Аванзалу армейскому подпоручику, бывшему во дворце для выписки приказов, велел позвать к себе гофмаршала графа Толстого и при всех гневно соизволил сказать ему: “Сейчас, неожиданно,

я видел здесь невежество, оказанное офицеру армии **моей** [выделено нами. — *Л. И.*] забывшимся дворцовым служителем. Оставляю это для первого раза без строгого наказания, но поручаю вам объявить всем прислужным штатам дворцов **наших**, что всякий офицер гвардии и армии равно есть член моего семейства, ибо они в самые дорогие дни жизни их оставляют по долгу своему и усердию отца, мать и весь родной круг, нередко навеки, чтобы служить **со мною** Отечеству...». М. М. Петров не был очевидцем этого происшествия: он услышал эту историю от третьего лица. Следовательно, нам не ведомо, в каких именно словах выразилось негодование императора на «невежество, оказанное армейскому подпоручику». Важно другое: в рассказе М. М. Петрова сохранены привычные для той эпохи словосочетания, обращающие на себя наше внимание спустя почти два столетия: дворцы — «наши», но армия — «моя». Может быть, офицерская молва, подхваченная М. М. Петровым, принимала желаемое за действительное? Приведем другой пример, относящийся к эпохе 1812 года. Н. И. Лорер² вспоминал о традиционном представлении Государю бывших кадетов Дворянского корпуса, пожалованных в офицеры вскоре после Бородинского сражения: «Государь осмотрел нас и тихо своим приятным голосом поздравил нас офицерами, прибавив: — Вы заместите ваших павших братьев, служите же **мне** также ревностно, с тем же неукоризненным отличием, как и они служили».

Безусловно, связь императора с войском превратилась за годы наполеоновских войн в боевое содружество, порой омрачаемое обидами и неудовольствиями, но от этого не менее прочное. Достаточно вспомнить, что со времен Петра Великого после многолетнего «женского правления» Александр Павлович был первым монархом, решившимся возглавить войска на театре военных действий и принимавшим участие в боях и походах. Пользу это приносило или вред войскам — вопрос второй, но Государь, в силу своих убеждений, не мог поступить иначе. Его отец, император Павел I, и сам был уверен и детям своим внушал следующее: «Я думаю, что стыдно бы было тому, кто от Бога произведен того пола и звания, служить непосредственно Отечеству своему, непосредственно не упражнялся б главнейшею частию службы онаго, какова есть защита государственная». Он болезненно относился к насмешкам за спиной, поэтому его безотказное чутье подсказывало ему, что носить военный мундир, но избегать военных действий в ту эпоху, когда он жил и царствовал — смешно. Сражения, в которых участвовали его войска, не шли ни в какое сравнение с «баталиями» XVIII столетия: потери отныне исчислялись не сотнями, а десятками тысяч. И он отправился на войну.

Можно, конечно, предположить, что ему не давали покоя лавры Наполеона, но характер Александра — «человека на троне» — позволяет в этом усомниться. В эпоху героев доказать армии, что он не трус было отнюдь не праздной затеей. «Сколько солдаты любят того офицера, который разделяет вместе с ними опасность и бережет их, столько и ненавидят того, кто в таком случае оставляет их», — отмечал в «Записках...» Я. Г. Отрощенко³. У Александра-царя существовала серьезная проблема, касающаяся взаимоотношений с подданными: его дед и отец пали жертвой дворцовых переворотов, где военные сыграли главную роль. В этой непростой ситуации внутренний голос подсказывал Александру-человеку, что военный человек не поднимет руку на венценосца, оказавшегося собратом по оружию. Императорская гвардия, не раз становившаяся инструментом в руках заговорщиков, превращалась Александром I в гаранта собственной неприкосновенности. Психология поступков русского императора привлекла внимание австрийского дипломата К. Н. Меттерниха, отозвавшегося так о его манере поведения: «Он действовал только по убеждению, а если иногда и предъявлял какие-либо претензии вообще, то рассчитывал гораздо больше на успех светского человека, чем властителя».

«Кровный союз» Александра I с армией был заключен в 1805 г. в Австрии, где русские воины сражались пока на территории союзника, где молодой государь неосторожно «перехватил» командование войсками у пожилого и оттого казавшегося ему «допотопным» М. И. Кутузова, следствием чего был сокрушительный разгром под Аустерлицем. В Европе считали, что все кончено и для царя, и для его союзников: «На сего доброго и превосходного монарха нашла дурная минута: по совету молодых своих царедворцев и вопреки мнению генералов и министров он дал 2 декабря генеральную баталию и проиграл оную. Это непоправимая беда...», — сообщал из Петербурга своему, как тогда говорили, «конфиденту» Жозеф де Местр. Об этом же в частном письме осмелился написать государю один из его друзей — князь Адам Чарторыйский: «Ваше присутствие во время Аустерлица не принесло никакой пользы, даже в той именно части, где именно вы находились, войска были тотчас же совершенно разбиты, и вы сами, ваше величество, должны были поспешно бежать с поля битвы. Этому вы ни в коем случае не должны были подвергать себя». Но... император видел кровь и смерть, страдал вместе с армией и даже еще больше. На глазах своей армии в опасную минуту он поднимал войска в атаку. Так, генерал Ланжерон свидетельствовал: «Император кричал солдатам: “Я с вами, я подвергаюсь той же опасности, стой!” — все было бесполезно; неожиданность и панический страх, бывший ее

результатом, заставил всех потерять головы». Однако за «прямой» офицерский подвиг — под неприятельским огнем бесстрашно побуждал войска идти вперед — по приговору кавалеров Георгиевской Думы государь был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса, который с гордостью носил любой офицер его армии. Не будь в его жизни Аустерлица, разве эрц-герцог Карл, брат австрийского императора, произнес бы в 1806 г. в адрес Александра I эти знаменательные слова: «Его величество, будучи сам солдатом, принимает участие во всех лицах своего звания». Разве в 1812 г., пожалуй, в самое тяжкое в своей жизни время, когда Наполеон находился в Москве, царь мог бы дать жесткую отповедь своей сестре, великой княгине Екатерине Павловне, упрекнувшей его в трусости: «Я не могу поверить, что в вашем письме идет речь о той личной храбрости, которой может обладать любой простой солдат, и которой я не придаю никакой ценности».

«Кислый для России 1805 год» остался в памяти у воинов русской армии по обстоятельству, показавшему, по выражению кн. П. И. Багратиона, «великость духа нашего государя». Так, Ф. В. Булгарин вспоминал: «Тогда был обычай, что взятый с боя город отдавался на грабеж. Если бы только брали пожитки... но тут и жизнь, и более еще — честь отдавалась на произвол рассвирепелого солдата! В русском войске это называлось: “поднять на царя”. Император Александр приобрел неопровергаемое право на бессмертие в веках и на благословение народов уничтожением этого правила. Однако ж, однажды в жизни, в первый и последний раз, сам император Александр прибегнул к этому средству. На другой день после Аустерлицкого сражения государь увидел несколько гвардейских батальонов и толпы армейских солдат почти без огней, лежавших на мокрой земле, голодных, усталых, измученных... Верстах в двух была деревенька, но в ней нельзя было занять квартир и достать помощи обыкновенными средствами. <...> Император Александр, тронутый положением своих воинов, позволил им взять все съестное из деревни. — “Ребята, поднимай на царя!” — раздался голос флигель-адъютанта — и солдаты устремились в деревню и выбрали все, что можно было взять и что было даже не нужно, для потехи. Государь записал название этой деревни и после вознаградил вдесятеро за все взятое». Одно дело, когда «поднять на царя» предлагает войсковое начальство; когда с подобным призывом обращается к войскам сам государь — другое дело!

Так или иначе, в 1805 г. образ царя-воина прочно укоренился в сознании его «любезных сослуживцев», о чем свидетельствует стихотворение С. Н. Марина⁴ с патетическим названием «К русским»:

Нам Александр — пример средь бою.
Отец Отечества! С тобою
Дерзнет на все усердный росс.

Поражение при Аустерлице было далеко не последним испытанием во взаимоотношениях императора с его армией. Очередная неудача, постигшая русских в битве под Фридландом 2 июня 1807 г., поставила царя перед необходимостью заключить сначала мир, а затем согласиться и на заключение военного союза против Англии со своим грозным противником. Он вынужден был признать все завоевания «генерала Буонапарте» в Европе, а его самого — императором Франции. По-видимому, Александру I нелегко далось это решение. Денис Давыдов вспоминал, каким он увидел своего государя в дни душевной опустошенности и «банкротства надежд»: «Я не спускал глаз с государя; мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостью духа различные чувства, его обуревавшие и невольно обнаруживавшиеся в ангельском его взгляде и на его открытом, высоком челе».

Перед сильным неприятелем, гордившимся своими победами, русский царь был весел и обворожителен, но Надежда Дурова⁵ запомнила императора Александра, удрученного поражением своих войск: «Государь проехал шагом мимо всего фронта нашего; он смотрел на солдат с состраданием и задумчивостью. Ах, верно отеческое сердце его обливалось кровью при воспоминании последнего сражения! Много пало войска на полях Фридландских!» Безусловно, «грустный» Александр был ближе сердцу своих подданных, чем тот, «веселый», называвший Наполеона «своим другом» и «сюзереном». Ему скорее простили бы поражение, чем этот унижительный, по мнению роптавшей армии, союз. Генерал-лейтенант граф П. А. Толстой⁶ с раздражением сказал царю: «В России не привыкли радоваться такому невыгодным мирам». Наверное, никогда за всю историю наполеоновских войн память о победах екатерининского царствования не была так мучительна для тех, кто в них участвовал. Там, в Тильзите, генерал-лейтенант князь Лобанов-Ростовский, сам не свой от горя, позволил себе вопиющую бестактность по отношению к царю: за обедом у Наполеона он заговорил с императором Франции о Екатерине Великой. Наполеон его много расспрашивал о ней. Князь Лобанов уже в ее царствование был действующим лицом, — он, как все современники и сослуживцы его, признательно и горячо предан был ее памяти. У него при рассказе навернулись слезы на глазах. Наполеон это заметил и сказал: «Видишь, Бертье, как русские любят и помнят своих царей». Кстати, в разговоре с российским уполномоченным Наполеон

проявил удивительную проницательность. «Созданные» им маршалы предали его, как только счастье отвернулось от «горделивого властелина Европы», в то время как русские генералы оказались верны своему монарху. «Тайна престола» и верность завещанию Екатерины оказались сильнее всех обрушившихся на Россию бедствий. «Ненужными опасностями» и забвением интересов России императора попрекала мать — вдовствующая императрица Мария Федоровна. Помня о трагической гибели своего мужа Павла I, Мария Федоровна считала, что ее сыну грозит равная с отцом опасность со стороны екатерининских ветеранов. Однако вдова убиенного царя отказывалась видеть очевидное: в глазах гордых и своевольных «ветеранов» именно ее старший сын был законным, по завещанию, наследником трона Екатерины Великой, который по недоразумению достался его отцу. «Обломки славы и побед» минувшего царствования, не раздумывая, подняли руку на отца, чтобы передать престол любимому внуку Екатерины, память о которой была для них священна. Эти люди могли на него обижаться, сетовать, поучать, но убить — никогда! Вот отзыв об Александре генерала Л. Л. Беннигсена, относящийся к 1812 г.: «Император удостоил принять меня в своем кабинете. Не буду повторять здесь всего, что этот добрый монарх сказал мне любезного о прошлом; человек менее чувствительный, нежели я, был бы тронут до глубины души; мне ничего не оставалось, как ответить, что я готов пролить последнюю каплю крови ради спасения его империи». В «цареубийстве 11 марта 1801 года» Беннигсен сыграл едва ли ни главную роль. Военные роптали, но не переходили дозволенных границ.

Впрочем, с государем у каждого офицера были свои отношения. Офицеры полков, расквартированных в Петербурге, видели царя постоянно. Гвардейцы считали себя как бы членами императорской фамилии, без них не обходилось ни одно важное событие в жизни северной столицы. Эта близость к священной особе государя до известной степени сокращала дистанцию между ним и подчиненными, что нашло отражение в забавных исторических анекдотах, переносящих нас в повседневную жизнь той поры. С. Г. Волконский рассказывал: «Многие говорят, что служба флигель-адъютанта весьма близка к царю. Хотя нас не была такая орава, как в последующее и нынешнее царствование, потому что выбор царя был весьма разборчив и часто государь говорил, когда говорили ему о назначении к нему флигель-адъютанта: “Оставьте мне то право, которое имеет каждой бригадный генерал, выбирать сам кого хочет себе в адъютанты”...» Как генерал-адъютанты, так и флигель-адъютанты, бегающие за выказыванием значения, вот что делали: при выходе царя к посещению вдовствующей императрицы или кому другому во дворце, они караулили царя, и тогда он иных отличал

разговором, с ними идя, и обыкновенным предметом разговоров были или известные ему любовные связи господ этих, или сплетни петербургского общества высшего и театрального круга». «Были из числа военной свиты <...>, которые <...> сторожили с кем танцует государь: если с Марьей Антоновной Нарышкиной, то польской нет конца, при маскарадах обойдут целый круг два раза; если с молоденькой и красивой дамой, то польская делалась продолжительна; но если государь ведет какую-нибудь старуху, взятую им из приличия, то, если можно, польская продолжается полкруга залы и никогда более целого круга».

Разве мог армейский офицер мечтать о том, чтобы государь оказался в курсе его «любовных связей» или стал обсуждать с ним «закулисные сплетни»? Этим офицерам были неведомы случаи из жизни столичного гарнизона, веселившие высший свет Петербурга, как, например, этот: «Являлся к государю вестовой Измайловского первого батальона <...>; слишком хороший цвет лица показался подозрительным государю; он, вынув платок, потер ему щеки, и что ж? О, стыд! Гренадер нарумянен. Государь очень рассердился, приказал наказать солдата, который не сказал, что ему велели нарумяниться; а я отвечаю головою, что ему это приказано». «Ангел во плоти», как называли императора придворные, бывал иногда довольно резок: «На Каменном острове по набережной, против дворца, стояли померанцевые деревья. На одном созрели апельсины, и к сдаче часовому было сдано, чтобы охранять их от кражи. Один из этих апельсинов свалился от зрелости. Часовой объявил об этом ефрейтору, этот — караульному офицеру, тот — дежурному по караулу Скарятину, человеку весьма тупому умом. Скарятин, полагая себя очистить от всякой ответственности, не рассудил, что в упадке с дерева апельсина небольшая беда, и, хотя было уже позднее вечернее время, пошел прямо к государю и велел о себе доложить, как с донесением о важном деле. Император принял его; он подходит и говорит: “Государь, пришел донести вам о случившейся большой беде”. — “Что ж это?” — спросил государь. — “Не смею доложить, но в этом я не виноват”. — “Но что ж это?” — с нетерпением возразил государь. — “Апельсин...” — “Не понимаю!” — “Апельсин, отданный в сдачу, свалился”. — “Пошел вон, дурак!” Обстоятельство этого разговора приняло гласность, и Скарятин иначе не называли между сослуживцами его и молодежью, как Скарятин-апельсин. И от стыда всего этого он вышел в отставку». Отметим, что «происшествия» с офицерами-гвардейцами — это, как правило, исторический анекдот, рассказанный от третьего лица; в жизни же армейского офицера общение с государем — исключительный случай, о котором он рассказывает сам и без малейшего намека на иронию или шутливый тон повествования.

Если же кому-то из армейских офицеров доводилось при встрече заговорить с императором, то событие это относилось к числу незаурядных случаев. Так, Я. О. Отрощенко поведал о своей незабываемой беседе с царем на «профессиональную» тему: «Когда я был в передовом карауле с моей ротой, приехал верхом государь император и прусский король. Я им показал, где главный неприятельский караул и где часовые. Государь, увидев на мне французскую саблю, спросил: “Разве лучше сабля?” “Надежнее шпаги, ваше величество”. Он приказал мне подать саблю; я вынул из ножен и, взяв за клинок, подал ему; он взял, посмотрел и опять мне отдал, говоря: “Тяжел эфес”. Действительно, у наших сабель был перевес при ударе к месту прикосновения, и раны делали жестокие, а у французов перевес был в эфесе. Французский же эфес защищал ручную кисть, а у наших сабель этого не было».

Встреча с царем Надежды Дуровой носила совершенно исключительный характер, впрочем, как и сам факт пребывания женщины на военной службе: «Участь моя решилась! Я была у государя! видела его! говорила с ним! <...>. “Я слышал, — сказал государь, — что вы не мужчина, правда ли это?” Я не вдруг собралась с духом сказать: “Да, ваше величество, правда!” С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала; сердце мое сильно билось, и рука дрожала в руке царевой! Государь ждал! Наконец, подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что государь краснеет; вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала их уже до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня к ногам государя! Я вскрикнула от ужаса <...>: “Не отсылайте меня домой, ваше величество! — говорила я голосом отчаяния, — не отсылайте! Я умру там! Непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотела ею пожертвовать для вас!..” Говоря это, я обнимала колени государевы и плакала. Государь был тронут; он поднял меня и спросил изменившимся голосом: “Чего же вы хотите?” — “Быть воином! носить мундир, оружие! Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь!” <...> Когда я перестала говорить, государь минуты две оставался как будто в нерешимости; наконец лицо его осветилось: “Если вы полагаете, — сказал император, — что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградой, то вы будете иметь ее!”»

Иногда император служил для армейских офицеров примером простоты солдатского быта: «Служитель отвечал, что государь по причине сухих мозолей уже три года заменяет чулки онучками. “Сначала было нам хлопот с этими онучками, — прибавил он, — бывало, мы путаем-

путаем, вертим-вертим около ступней, либо пятка светится, или палец выглядывает; но, спасибо, скоро догадались: призвали старого гвардейского солдата, который, живя при нас неделю, выучил нас всех обуваться и обувать государя по онучкам со всеми сноровками, опрятно и удобно для спокойствия ног; так что государь теперь никогда не намерен обуваться по чулкам". Рассмотря и испытав истину удобства обуви по онучкам, я, поучась взятыми уроками у старых егерей моих, принял себе во всегдашнее средство успокоения ног, изнуренных походами и охотой с ружьем».

События Отечественной войны 1812 года в который раз испытывали российского императора на прочность. Почувствовав, по его собственному признанию, «остроту обстоятельств», он направился к западной границе России, где были расквартированы войска 1-й Западной армии М. Б. Баркляя де Толли. Государь погрузился в разногласия мнений по поводу плана кампании. От государя требовали немедленных распоряжений, так как согласно «Учреждению о большой действующей армии» его присутствие на театре военных действий означало, что именно он является главнокомандующим. Даже офицер квартирмейстерской части скептически оценивал полководческие способности своего государя в сложившейся обстановке: «С нашей стороны распоряжался государь; но на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями».

И все-таки он оказался в нужное время в нужном месте! Получив сведения об огромном численном превосходстве противника, «вступившего в пределы нашей земли», он, пусть неумело, сделал первый шаг к спасению императорской армии: приказал отступить к Дрисскому военному лагерю в излучине Двины. «Мы выступили по направлению к Дриссе, где находились укрепленные позиции. Государь пропустил нас мимо себя, когда мы строились в боевые колонны, и глядел на нас с улыбкой на лице, но я думаю, что на сердце у него было совсем другое. Неприятель находился между нашей армией и армией князя Багратиона». Дрисский лагерь принес одни разочарования: выстроенный по проекту прусского советника Александра I генерала К. Ю. Фуля⁷, этот лагерь сразу же получил наименование «образца военного невежества». Все насмешки и издевки, высказанные опытными военачальниками в адрес прусского «страгера» в не меньшей степени задевали и самого императора. Сведения о «славном по слухам» лагере достигли и до войск 2-й Западной армии. Так, Н. Н. Раевский сообщил родственнику в одном из писем: «Что предполагает государь — мне неизвестно, а любопытен бы я был знать его предположения. У него советник первый Фуль — пруссак, что учил его тактике в Петербурге. Его голос сильней всех. Общее мнение,

что есть отрасли Сперанского намерения. Сохрани Бог, а похоже, что есть предатели». Князь Багратион, выведивший свою армию из окружения, недоумевал по другому поводу: «От государя давно ничего не имею, впрочем, армия наша в таком духе и в расположении всем умереть у стен Отечества и знамен Государя, что желают наступать».

Однако Александр I выразил намерение самому ехать ко 2-й армии, 6 июля в Полоцке ему было подано письмо, подписанное тремя высшими сановниками России (А. А. Аракчеевым, А. Д. Балашовым, А. С. Шишковым), где в учтливой форме от него требовалось немедленно покинуть армию: «Мы отбытие отселе государя императора прежде сражения потому почитаем нужным, что, во-первых, время не терпит и каждый день медления здесь делает великий перевес в делах; во-вторых, если неприятель нечаянно настигнет и, чего Боже сохрани! одержит знатную поверхность...». Секретарь императрицы Н. М. Лонгинов сообщал о накалившейся в армии атмосфере: «Ненависть в войске до того возросла, что если бы государь не уехал, неизвестно, чем все сие кончилось бы». В Петербурге ходили слухи, что один из генералов 1-й армии в глаза попрекнул государя тем, что «необходимо содержать не менее 50 000 войска, чтобы охранять его особу». Вероятно, никогда он не казался себе таким одиноким и бесполезным, как в тот день, когда его выставили из армии, как напроказившего юнкера. «Я пожертвовал для пользы моим самолюбием, — признавался Александр I в письме сестре великой княгине Екатерине Павловне, — оставив армию, где полагали, что я приношу вред». Ветераны «времен Очакова и покоренья Крыма» знали, что делали: они защищали Отечество и Веру, все то, что совмещалось для них в особе Государя, который теперь был нужен им как символ, а не как «светский человек», из лучших побуждений деливший с армией невзгоды отступления. Юный офицер лейб-гвардии Семеновского полка в эти дни записал в дневнике: «Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем...». Армия, которая так жестоко отвергла его в трудный час, с нетерпением ожидала ответа своего императора на мирные предложения Наполеона, «гостившего» в Москве. Александр не обманул ожиданий своих «любезных сослуживцев». Он понял, что он нужен, необходим своим воинам. По словам французского историка А. Труайя, «он нашел в себе силы из русского царя превратиться в царя русских».

В декабре 1812 г. он приехал в Вильно к своим измученным, промерзшим, но победоносным войскам. Фельдмаршал Кутузов бросил к его ногам отбитые у неприятеля знамена. Те люди, о которых в минуты досады и горечи он говорил, что «они умеют только драться», заложили величественный постамент для его славы. Их ряды пореде-

ли, они погибали под Миром и Кореличами, Романовым и Островной, Смоленском и Бородином, Тарутиным, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, на Березине. С этой минуты император Александр стал в Европе первой персоной. К русским войскам вскоре, как и обещали, примкнули пруссаки. Война повернула вспять от российских границ. Отныне «наш Агамемнон» вызывал лишь восхищение, запечатленное в письмах, дневниках, воспоминаниях офицеров русской армии, пленявшихся великодушием победителя: «Многие черты создали нашему государю репутацию милосердного и сострадательного человека. Мне приятно привести здесь пример, подтверждающий доброту его сердца. <...> Он теперь торжествует,— ведь французы сожгли Москву; разграбили богатейшие области, ввергли в нищету любимый им, драгоценный его сердцу народ. Судьба пленных не должна была бы его интересовать, ему должно было бы казаться естественным мстить за жестокости, в которых они повинны. <...> Дабы показать, как он умеет побеждать и прощать, он один, без свиты, завернувшись в шинель, прошел по самым зачумленным углам сего храма смерти. Дважды он пересек из конца в конец огромные залы, где смерть предстает в тысяче мучительных образов, его кроткие и ласковые слова подобно благодетельному бальзаму воскресили несчастных, которые не знали, кто сей великодушный, вносящий покой в их душу, кого им благодарить за расчлаемые благодеяния. Он все сам увидел, обо всем распорядился, все смягчил своей кротостью...». Правда, сам Александр на вопрос графини Тизенгауз: «Что говорили пленные, узнававшие в посетителе царя?», отшутился: «Они принимали меня за адъютанта графа де Сен-При⁸».

Войска считали для себя особой честью вступить в бой и отличиться на глазах обожаемого монарха: «Октября 4-го мы уже стояли на высотах перед Лейпцигом. Тогда император наш подъехал к нам с своею свитою и с конвоем, поздоровался с нами и сказал: “Ну, финляндцы, с Богом в бой”. Мы крикнули: “Ура!”» Молодой свитский офицер А. А. Щербинин⁹ записал в дневнике 12 декабря 1813 года, накануне вторжения российских войск во Францию: «Праздновали мы день рождения великого государя нашего». В величии их собственного государя русских офицеров убеждало поведение знаменитых иностранных военачальников, например прусского фельдмаршала Г. Л. Блюхера, о чем поведал А. И. Михайловский-Данилевский: «В это время вошел Блюхер с прусскими генералами и их штабом. Фельдмаршал иногда шутит над своим королем и над слабостию его характера, он пренебрегает прочими монархами Европы и доложит только двумя предметами: привязанностию прусской армии

и уважением нашего государя. “Он мой император, — говорит часто почтенный старик, — я ему доношу о моих военных действиях, а уже он пусть сообщает их королю. Он один может меня судить, и я от него принимаю охотно и выговоры, и награждения”».

И вот уже русские войска продвигаются по территории Франции. «Он и в сем походе был столь же весел, столь же любезен, как и в предыдущем, и таковым, как я после редко видал его в путешествиях и во дворцах его. Приучив себя с молодых лет переносить непостоянство стихий, он всегда был верхом в одном мундире, лучше всех одет; казалось, что он был не на войне, но поспешал на какой-нибудь веселый праздник». А. И. Михайловский-Данилевский вспоминал о битве при Фер-Шампенуазе: «Я пристально смотрел на государя во время действия или, лучше, — не спускал с него глаз, видя его в великой опасности. Я не скажу, чтобы он был совсем равнодушен, видно было, что душа его находилась в волнении, но он никак не изменял хладнокровию и с спокойствием распоряжался малым числом войск, тут находившихся. Я видел, как царь наш летел на тысячу смертей и потом стоял победителем посреди неприятельского карея, в котором офицеры и солдаты бросали оружие свое, между тем как воздух наполнялся свистом пуль и жужжанием ядер».

18 марта 1814 г. русские войска во главе союзных армий вступили в Париж. Этому событию предшествовало подписание Конвенции о капитуляции неприятельской столицы, 8-я статья которой гласила: «Город Париж передается на великодушие союзных государей» и, конечно же, в первую очередь на великодушие русского императора, которому после пожара Москвы было что прощать недругу. Так, «на вершине Монмартра погасли последние выстрелы ружей русских под развернутыми знаменами нашего Благословенного!». Для него, вероятно, было очень важно, что он входил в историю с этим наименованием: не «Великий», не «Незабвенный», а именно «Благословенный». Его царствование началось с убийства Павла I, в чем он никогда не переставал себя винить. Волнующие дни в Париже отгоняли прочь воспоминания о той давней трагедии, случившейся, так же как и низвержение Наполеона, в марте. Это ли было не доказательством благословения свыше и для него, и для тех, кто знал о его причастности к заговору против собственного отца? «Следование армии нашей от Витри к Парижу было истинно торжественное и превосходит всякое описание. Государь <...> несколько раз в день объезжал гвардейский и гренадерский корпусы, приветствовал генералов и полковых начальников, которые все почти его воспитанники, ибо образовались в гвардии пред его глазами. Громкие и сердечные восклицания “Ура!”, барабанный бой и музыка

возвещали прибытие его величества к каждому полку. Я никогда не видал государя столь веселым, как в эти дни, он был любезнее обыкновенного», — вспоминал Михайловский-Данилевский. Также смело и открыто он мог смотреть в глаза своим подданным по возвращении в Петербург: «Я никогда не забуду того выражения, которое я видел на прекрасном лице государя, когда он, на другой день своего возвращения, окруженный генералами, подвизавшимися с ним вместе, торжественно ехал верхом в Казанский собор слушать благодарственный молебен».

Если первые годы царствования «Благословенного» Пушкин назвал «дней александровых прекрасным началом», то незабываемые дни в Париже можно с полным основанием считать самыми прекрасными днями в жизни Александра. В их воспоминаниях царь навсегда остался таким, каким они видели его на высотах Монмартра и среди ликующих жителей столицы Франции: «Народ французский, прельщенный поступками и божественною доверенностию нашего государя у них и к ним, препровождая его к квартире, как некогда своего благословенного Генриха IV, кричал: “Виват, ура!”, целовал руки, ноги его и даже прекрасного белоснежного коня Марса. “Мы уже давно ожидали прибытия вашего величества”, — сказал один француз, на что император ответил: “Я бы ранее к вам прибыл, обвиняйте в моей медленности храбрость ваших войск”. Русский император, так же как и русские воины, был приветлив и уважителен к мирному поселению, более того, он льстил национальной гордости побежденных: увидев Аустерлицкий мост, напоминавший нынешним победителям о былых несчастиях, Александр I произнес: “Без этого и мы не были бы теперь здесь”».

Унтер-офицер Богданчиков поведал своему внуку: «Когда мы пришли в Париж, то наши хотели разбивать Париж, а покойник император Александр Павлович — он ведь был красавец — говорит: “За что мы будем жечь город, ведь эти люди ничем не виноваты”». В памяти русского воина внешняя красота его государя и сохранение неприятельской столицы слились в одно целое. В этом есть определенная логика: союзникам казалось, что Александр I в стремлении произвести благоприятное впечатление на французскую публику излишне усердствовал. Так, английский дипломат лорд Кэстльри за месяц до вступления в Париж высказал нелестное для русского царя соображение: «Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной столицы». Историк Н. Ульянов полагал: «Это желание нравиться чужим народам — отличительная черта

Александра I. Можно подумать, что знаменитые мечтания юных лет рассчитаны были на завоевание популярности в Европе. Идея предстать перед нею более свободолюбивым, чем Наполеон, заключала одно из средств борьбы с ним». Свести историю противостояния России и Франции исключительно к тщеславному эгоизму русского императора, стремившегося из зависти затмить Наполеона, все равно что свести «династическое безумие» Наполеона, его стремление добыть себе и своим родственникам короны и титулы к зависти к помазанникам Божьим, в том числе к русскому царю. И тот и другой императоры в равной степени были склонны к актерскому действу, игре на публику, потому что театральность вообще была в ходу в ту далекую от нас эпоху, составляя ее повседневный «социокультурный контекст». «Особую роль в культуре начала XIX века в общеевропейском масштабе сыграл театр. Театрализуется эпоха в целом. Специфические формы сценичности сходят с театральной площадки и подчиняют себе жизнь. Грань между искусством и бытовым поведением зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Люди этого времени строят свое личное поведение, бытовую речь, в конечном счете свою личную судьбу по литературным и театральным образцам». Наш государь играл свою роль (или жил) так, как он считал нужным, в соответствии с полученным им воспитанием, образованием, а главное — происхождением своей власти. Он мог быть вполне искренним, когда произносил эти слова: «Бог ниспослал мне власть и победу, для того чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие».

Государь Александр Павлович был сыном своего времени — всеобщего счастья и благополучия он пытался достигнуть силой оружия. Он обладал несомненной добродетелью — не предавал возвышенных идеалов своей юности. По мнению А. Вандаля, наш царь вел войну с Наполеоном «во имя принципов». Французский историк был далек от мысли, что причиной, побудившей Александра I бросить вызов наполеоновской Франции, были зависть или личная месть: «Сын наследственного императора и воспитанник Лагарпа, он ненавидел в Наполеоне и узурпатора, и деспота. Вступая в войну с революцией, дисциплинированной одним человеком, он думал, что служит и делу королей, и делу свободы». Разочарование в либеральных идеях стоило ему жизни: по словам Меттерниха, «душа его рухнула» и он угас на глазах своих современников, не дожив до 50 лет. Кончина русского императора мало чем отличалась от смерти Наполеона, его «вечного антагониста», вознесшегося из «низкой доли», «измучен казнию покоя», он, как множество ветеранов той «Большой Европейской войны», не смог найти себя в гражданской жизни. Вероятно, это

было предосудительно для главы государства, но Александр I всегда внутренне стремился «к успеху светского человека».

Минуты счастья в его жизни были, им он был обязан своей армии, вопреки обидному замечанию великой княгини Екатерины Павловны, сделанному в 1812 г.: «А вы, мой друг, в военных делах такой же неудачник, как и в гражданских». Кто бы упрекнул его в неискренности, когда он замыслил создание Военной галереи «в великолепных чертогах своих, Зимнем дворце, соединив здесь портреты генералов, участников в войне». Сын своего времени, он считал, что самый надежный и «вечный» способ запечатлеть великие чувства — соорудить «вещественный памятник», их олицетворяющий. На Триумфальной арке, которую он повелел соорудить на Петергофской дороге в память о тех, с кем «разделял военные труды» помещена надпись по-французски: “*A mes chers compagnons d’Armes*” («Моим дорогим соратникам по оружию»).

Можно себе представить, как бились сердца его соратников, когда они читали эти слова, хотя государь почему-то счел нужным выразить свои чувства по-французски. Очевидно, в этом также проявилась историко-культурная повседневность той поры. Надпись на арке многими переводилась, как «Моим любезным сослуживцам». В отрывке из мемуаров декабриста А. Е. Розена¹⁰, относящемся к кончине государя в декабре 1825 г., этим словам дан иной перевод: «К. И. Бистром объявил о кончине императора [Александра.— Л. И.], поздравил с новым императором Константином, поднял шляпу, воскликнул: “Ура!” — и слезы покатались из глаз его и многих воинов, бывших в походах с Александром, который называл их “любезными товарищами”. <...> Беспредельную любовь к Александру могу засвидетельствовать клятвою офицеров во многих армейских полках в 1812, 13, 14-м годах: “Не пережить любимого государя!”». В наше время слово «любезным» воспринимается как «вежливым», но в те времена оно означало «любимым»...

